

**Собрание сочинений
Аполлона Григорьева.**

**Выпуск 6. Взгляд на русскую
литературу со смерти Пушкина**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82.09
ББК 83.3
С54

С54 Собрание сочинений Аполлона Григорьева.: Выпуск 6. Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина / – М.: Книга по Требованию, 2021. – 86 с.

ISBN 978-5-458-37897-0

Под редакцией В.Ф.Саводника.

ISBN 978-5-458-37897-0

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

I. Взглядъ на русскую литературу со смерти Пушкина ¹⁾.

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ.

Пушкинъ. — Грибоѣдовъ. — Гоголь. — Лермонтовъ.

I.

Въ 1834 году въ одномъ изъ московскихъ журналовъ, пользовавшемся весьма небольшимъ успѣхомъ, но въ замѣнъ того отличавшемся серьезностью взгляда и тона, впервые появилось съ особенною яркостью имя, которому суждено было долго играть истинно-путеводную роль въ нашей литературѣ. Въ „Молвѣ“, издававшейся при „Телескопѣ“ Надеждина, появлялись въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ статьи подъ названіемъ: „Литературныя мечтанія“. Эти статьи изумляли невольно своей беспощадной и вмѣстѣ наивной смѣлостію, жаромъ глубокаго и внутри души выросшаго убѣжденія, прямымъ и нецеремоннымъ поставленіемъ вопросовъ, наконецъ, тою видимою молодостію энергіи, которая дорога даже и тогда, когда впадаетъ въ ошибки, дорога потому, что самыя ошибки ея происходятъ отъ пламеннаго стремленія къ правдѣ и добру. „Мечтанія“ такъ и дышали вѣрою въ эти стремленія и не щадили никакого кумиро-поклоненія, во имя идеаловъ разбивали простѣйшимъ образомъ всякіе авторитеты, не подходившіе подъ мѣрку идеаловъ. Въ нихъ выразилось первое сознательное *чувство* нашей критики—я говорю *чувство*, а не *взглядъ*—ибо въ нихъ все было чувство. Такъ какъ по общему органическому закону мірозданія ни одна мысль не является въ стройной формѣ,

¹⁾ „Русское Слово“, 1859 г., №№ 2 и 3.

не пройдя напередъ нѣсколько формъ, такъ сказать, допотопныхъ, то и „Литературнымъ мечтаніямъ“ Виссаріона Григорьевича Бѣлинскаго (подъ ними подписался онъ еще такимъ образомъ:— „онъ . . . инскій. Чембаръ. 1834 г. Дек. 12 дня“,—но все молодое поколѣніе знало хорошо имя того, кто такъ смѣло и честно высказалъ то, что жило во всѣхъ, носилось въ воздухѣ эпохи) и „Литературнымъ мечтаніямъ“—говорю я—предшествовали критическіе *диноверіумы* Никодима Надоумки,—смѣлая, рѣзкая, но неуклюжія и безвкусныя выходки противъ застарѣлыхъ мыслей... Но какая разница обличалась съ перваго же раза между дѣятельностію Бѣлинскаго и дѣятельностію Никодима Надоумки! Вся правда и энергія Никодима Аристарховича пропадали даромъ вслѣдствіе семинарскаго безвкусія тона и положительнаго отсутствія чувства изящнаго: всѣ заблужденія и промахи Бѣлинскаго исчезали, сгорали въ его огненной рѣчи, въ огненномъ чувствѣ, въ яркомъ и истинно поэтическомъ пониманіи. И только при такихъ условіяхъ могло пройти столько истинъ, и только при такихъ условіяхъ могло начаться то дѣло, котораго „Литературныя мечтанія“ были первымъ камнемъ.

„Литературныя мечтанія“ ни болѣе ни менѣе какъ ставили на очную ставку всю русскую литературу со временъ реформы Петра,—литературу, въ которой невзыскательные современники и почтительные потомки насчитывали уже нѣсколько геніевъ, которую привыкли уже считать за какое-то *sacrum*,—и развѣ только подчасъ какіе-нибудь пересмѣшники повторяли стихъ старика Вольтера: „*Sacrés ils sont, car personne n'y touche*“. Пересмѣшниковъ благомыслящіе и почтенные люди не слушали, и торжественно раздавались гимны не только Ломоносову и Державину, но даже Хераскову и чуть ли не Николеву; всякое критическое замѣчаніе насчетъ Карамзина считалось святотатствомъ, а геніальность Пушкина надобно было еще отстаивать, а поэзію первыхъ Гоголевскихъ созданій почувствовали еще очень немногіе, и изъ этихъ немногихъ, во-первыхъ, самъ Пушкинъ, а во-вторыхъ, авторъ „Литературныхъ мечтаній“.

Между тѣмъ умственно-общественная ложь была слишкомъ очевидна. Хераскова уже положительно никто не читалъ; Державина читали немногіе, да и то не цѣликомъ; читалась исторія Карамзина, но не читались его повѣсти и разсужденія. Сознавать эту ложь внутри души могли многіе, но сознательно почувствовать

ее до того, чтобы сознательно и смѣло высказать всѣмъ могъ только призванный человѣкъ, и такимъ-то именно человѣкомъ былъ Виссаріонъ Бѣлинскій.

Дѣло, начатое имъ въ „Литературныхъ мечтаніяхъ“, было до того смѣло и ново, что чрезъ много лѣтъ потомъ казалось еще болѣе чѣмъ смѣлымъ,—дерзкимъ и разрушительнымъ,—всѣмъ почти-тельнымъ потомкамъ невзыскательныхъ дѣдовъ, что чрезъ много лѣтъ потомъ оно вызывало юридическіе акты въ стихахъ, въ родѣ слѣдующихъ:

Карамзинъ тобой ужаленъ,
Ломопосовъ—не поэтъ!

Но страннымъ образомъ начало этого дѣла въ „Литературныхъ мечтаніяхъ“ не возбудило еще ожесточенныхъ криковъ. До этихъ криковъ уже потомъ *додразнилъ* Бѣлинскій своихъ противниковъ, хотя весь онъ съ его пламенною вѣрою въ развитіе вылился въ своемъ юношескомъ произведеніи, хотя множество взглядовъ и мыслей цѣликомъ перешли изъ „Литературныхъ мечтаній“ въ послѣдующую его дѣятельность и хотя, наконецъ, положительно можно сказать, съ этой минуты онъ въ глазахъ всѣхъ насъ, тогдашняго молодого племени, сталъ во главѣ сознательнаго или критическаго движенія.

Въ ту эпоху, которой первымъ сознаниемъ были „Литературныя мечтанія“, кромѣ старыхъ, уже не читаемыхъ, а только вспоминаемыхъ авторитетовъ, былъ еще живой авторитетъ,—Пушкинъ, только что появился почти въ печати Грибоѣдовъ и только-что вышли еще „Вечера на хуторѣ близъ Диканьки“. Въ это эпоху, впрочемъ, не Пушкинъ, не Грибоѣдовъ и не „Вечера на хуторѣ“ тревожили умы и внушали всеобщій интересъ. Публика охладѣла на время къ Пушкину, съ жаромъ читала Марлинскаго, добро-душно принимала за правду и настоящее дѣло разные историче-скіе романы, появлявшіеся дюжинами въ мѣсяцъ, съ тайной тре-вогою прислушивалась къ соблазнительнымъ отголоскамъ юной французской словесности въ разсказахъ барона Брамбеуса—и подъ рукою почитывала переводные романы Поль-де-Кока.

Бѣлинскій былъ слишкомъ живая натура, чтобы не увлечься хоть нѣсколько стремленіями окружавшаго его міра, и впечат-лительность его выразилась въ „Литературныхъ мечтаніяхъ“ двумя сторонами: негодованіемъ на тогдашнюю дѣятельность Пушкина и лихорадочнымъ сочувствіемъ къ стремленіямъ молодой француз-

ской литературы. Изъ этихъ сторонъ только первая требуетъ поясненія, вторая въ немъ не нуждается. Бѣлинскій не былъ бы Бѣлинскимъ, не былъ бы гениальнымъ критикомъ, если бы полнымъ сердцемъ не отозвался на все то, что тревожило поколѣніе, котораго онъ былъ могущественнымъ голосомъ. Чтобы идти впередъ нашего пониманія, онъ долженъ былъ понимать насъ, наши сочувствія и вражды, долженъ былъ пережить поклоненіе Бальзаковскому Феррагусу и Notre Dame В. Гюго. Человѣкъ, гораздо старше его лѣтами и, можетъ быть, пониманіемъ, хотя гораздо слабѣйшій его относительно даровитости, Н. И. Надеждинъ написалъ въ своей статьѣ „Баронъ Брамбеусъ и юная словесность“ нѣсколько страницъ въ защиту этой словесности, въ которой онъ видѣлъ необходимую для человѣчества анатомію; и, безъ всякаго сомнѣнія, подобная защита была и выше и разумнѣе въ свое время пустыхъ насмѣшекъ. *Не сочувствовать* юной словесности имѣлъ тогда право, можетъ быть, только Пушкинъ, ибо въ немъ одномъ такое несочувствіе было прямое, художнически-разумное и чуждое заднихъ мыслей. Его орлиный взглядъ видѣлъ далеко впередъ, такъ далеко, какъ мы и теперь еще, можетъ быть, не видимъ. Остальные, исключая развѣ того немногочисленнаго мыслящаго кружка, котораго представителемъ былъ И. В. Кирѣевскій—авторъ перваго философскаго обозрѣнія нашей словесности,—или лукавили въ своемъ несочувствіи или не сочувствовали потому, что давно потеряли способность чему-либо серьезно и душевно сочувствовать, или, наконецъ, въ основу своего несочувствія клали узенькія моральныя сентенціи и, что еще хуже, побужденія вовсе не литературныя. А Бѣлинскій не былъ ни уединеннымъ, строго-логическимъ мыслителемъ, какъ И. В. Кирѣевскій, ни однимъ изъ опекуновъ нравственности и русскаго языка; онъ былъ человѣкъ борьбы и жизни. Всѣ наши сомнѣнія и надежды выносилъ онъ съ своей душой—и оттого-то всѣ мы жадно слушали его вулканическую рѣчь, шли за нимъ, какъ за путеводителемъ, въ продолженіе цѣлаго литературнаго періода, до тѣхъ поръ, пока... переворотъ, совершившійся въ художественной дѣятельности Гоголя, не раздѣлилъ всѣхъ мыслящихъ людей на двѣ литературныя партіи.

Но объ этомъ рѣчь впереди. Имя Бѣлинскаго, какъ плоть, обросло четыре поэтическихъ вѣнца, четыре великихъ и славныхъ имени, которыя мы поставили въ заглавіи статьи,—сплелось съ

ними такъ, что, говоря о нихъ, какъ объ источникахъ современнаго литературнаго движенія, постоянно бываешь поставленъ въ необходимость говорить и о немъ. Высокій удѣлъ, данный судьбою немногимъ изъ критиковъ, едва ли даже, за исключеніемъ Лессинга, данный не одному Бѣлинскому. И данъ этотъ удѣлъ совершенно по праву. Горячаго сочувствія при жизни и по смерти стоилъ тотъ, кто самъ умѣлъ горячо и беззавѣтно сочувствовать. Безстрашный боецъ за правду, онъ не усомнился ни разу отречься отъ лжи, какъ только сознавалъ ее, и гордо отвѣчалъ тѣмъ, которые упрекали его за измѣненія взглядовъ и мыслей, что не измѣняетъ мыслей только тотъ, кто не дорожитъ правдой. Кажется, даже онъ созданъ былъ такъ, что натура его не могла устоять противъ правды, какъ бы правда ни противорѣчила его взгляду, какихъ бы жертвъ она ни потребовала. Смѣло и честно звалъ онъ первый геніальнымъ то, что онъ таковымъ созналъ, и, благодаря своему критическому чутью, ошибался рѣдко. Такъ же смѣло и честно разоблачалъ онъ, часто наперекоръ общему мнѣнію, все, что казалось ему ложнымъ или напыщеннымъ, заходилъ иногда за предѣлы, но въ сущности, въ основахъ, *никогда* не ошибался. У него былъ ключъ къ *словамъ* его эпохи, и въ груди его жила могущественная и вулканическая сила. Теоріи увлекали его, какъ и многихъ, но въ немъ было всегда нѣчто высшее теорій, чего нѣтъ во многихъ. У него—теоретики назовутъ это слабостію, а мы великою силою—никогда не достало бы духу развѣнчать во имя теоріи сегодня то, что признавалъ онъ великимъ и прекраснымъ вчера. Онъ не могъ холодно отвернуться отъ Гоголя, онъ не написалъ бы никогда, что г. N или Z, какъ проводители принциповъ, имѣютъ въ нашей литературѣ значеніе высшее, чѣмъ Пушкинъ.

И между тѣмъ Бѣлинскій началъ свое дѣло тѣмъ, что вмѣстѣ съ толпою горевалъ объ утратѣ прежняго Пушкина, т.-е. Пушкина „Кавказскаго плѣнника“, первыхъ главъ „Опѣгина“ и проч. Какъ объяснить этотъ странный фактъ?.. И прежде всего не говоритъ ли этотъ фактъ противъ легкости въ перемѣнѣ взглядовъ и убѣжденій, въ которой упрекали Бѣлинскаго его враги? Бѣлинскій слишкомъ глубоко воспринялъ въ себя первую юношескую дѣятельность Пушкина, слишкомъ крѣпко сжился съ нею, чтобы разомъ перейти вмѣстѣ съ поэтомъ въ инныя, высшія сферы. Онъ и перешелъ потомъ, перешелъ искренне, но только тогда, когда

сжился съ этимъ новымъ воздухомъ. Вполнѣ дитя своего вѣка, онъ не опередилъ, да и не долженъ былъ опережать его. Чѣмъ дольше боролся онъ съ новою правдою жизни или искусства, тѣмъ сильнѣе должны были дѣйствовать на поколѣніе, его окружавшее, его обращенія къ новой правдѣ. Если бы Бѣлинскій прожилъ до нашего времени, онъ и теперь стоялъ бы во главѣ критическаго сознанія, по той простой причинѣ, что сохранилъ бы возвышенное свойство своей натуры: неспособность закоснѣть въ теоріи противъ правды искусства и жизни...

Есть нѣчто неотразимо увлекательное въ страницахъ „Литературныхъ мечтаній“, посвященныхъ Пушкину: чувство горячей любви бьетъ изъ нихъ ключомъ; наивность непониманія новыхъ сторонъ поэта идетъ объ руку съ глубокимъ, душою прочувствованнымъ пониманіемъ прежнихъ, и многое, сказанное по поводу этихъ прежнихъ сторонъ никогда, можетъ быть, уже такъ свѣжо и дѣйствиительно-страстно не скажется!

II.

„Пушкинъ былъ совершеннымъ выраженіемъ своего времени. Одаренный высокимъ поэтическимъ чутъемъ и удивительною способностью принимать и отражать всевозможныя ощущенія, онъ перепробовалъ всѣ тоны, всѣ лады, всѣ аккорды своего вѣка; онъ заплатилъ дань всѣмъ великимъ современнымъ событіямъ, явленіямъ и мыслямъ, всему, что только могла чувствовать тогда Россія, переставшая вѣрить въ несомнѣнность *вѣковыхъ правилъ*, самую мудростію извлеченныхъ изъ писаній великихъ *гениевъ* (слова эти — курсивомъ въ оригиналѣ, и относятся къ тогдашнему поклоненію установленнымъ авторитетамъ), и съ удивленіемъ узнавая о другихъ мірахъ мыслей и понятій и новыхъ, неизвѣстныхъ ей до того взглядахъ на давно извѣстныя ей дѣла и событія. Несправедливо говорятъ, будто онъ подражалъ Шенъе, Байрону и другимъ: Байронъ владѣлъ имъ не какъ образецъ, но какъ явленіе, какъ властитель думъ вѣка, а я сказалъ, что Пушкинъ заплатилъ свою дань каждому великому явленію. Да, Пушкинъ былъ выраженіемъ современнаго ему міру, представителемъ современнаго ему человѣчества, — *но міра русскаго, но человѣчества русскаго*. Что дѣлать? Мы всѣ гении-самоучки; мы все знаемъ, ничему не учившись, все приобрѣли, веселясь и играя, — словомъ,

Мы всё учились понемногу,
Чему-нибудь и как-нибудь.

Пушкинъ отъ шумныхъ оргій разгульной юности переходилъ къ суровому труду,

Чтобъ въ просвѣщеніи стать съ вѣкомъ наравнѣ,

отъ труда опять къ молодымъ играмъ, сладкому бездѣлю и легкокрылому похмелью. *Ему недоставало только нѣмецко-художественнаго воспитанія (?)*. Баловень природы, онъ, шая и играя, похищаль у ней плѣнительные образы и формы, и, снисходительная къ своему любимцу, она роскошно одѣляла его тѣми цвѣтами и звуками, за которые другіе жертвуютъ ей наслажденіями юности, которые покупаютъ у ней цѣною отреченія отъ жизни... Какъ чародѣй, онъ въ одно и то же время исторгаль у насъ и смѣхъ и слезы, играль по волѣ нашими чувствами... Онъ пѣлъ—и какъ изумлена была Русь звуками его пѣсенъ!—и не диво: она еще никогда не слыхала подобныхъ; какъ жадно прислушивалась она къ нимъ: и не диво,—въ нихъ трепетали всѣ нервы ея жизни! Я помню это время, счастливое время, когда въ глуши провинціи, въ глуши уѣзднаго городка, въ лѣтніе дни изъ растворенныхъ оконъ носились по воздуху эти звуки, *подобные шуму водъ или журчанью ручья*“ (курсивомъ въ оригиналѣ).

„Невозможно обозрѣть всѣхъ его созданій и опредѣлить характеръ каждаго: это значило бы перечестъ и описать всѣ деревья и цвѣты Армидина сада. У Пушкина мало, очень мало мелкихъ стихотвореній; *у него по большей части все поэмы*: его поэтическія тризны надъ урнами великихъ, его „Андрей Шенье“, его могучая бесѣда съ „Моремъ“, его вѣщая дума о „Наполеонѣ“—поэмы. По самые драгоценныя алмазы его поэческаго вѣнка, безъ сомнѣнія, суть „Евгеній Онѣгинъ“ и „Борисъ Годуновъ“. Я никогда не кончилъ бы, если бы началъ говорить о сихъ произведеніяхъ“.

„Пушкинъ царствовалъ въ литературѣ десять лѣтъ: „Борисъ Годуновъ“ былъ послѣднимъ великимъ его подвигомъ; въ третьей части полного собранія его стихотвореній замерли звуки его гармонической лиры. Теперь мы не узнаемъ Пушкина; онъ умеръ или, можетъ быть, только обмеръ на время. Можетъ быть, его уже нѣтъ, а можетъ быть, онъ и воскреснетъ; этотъ вопросъ, это Гамлетовское „быть или не быть“ скрывается во мглѣ будущаго.

По крайней мѣрѣ, судя по его сказкамъ, по его поэмѣ „Анже-ло“ и по другимъ произведеніямъ, обрѣтающимся въ „Новосельѣ“ и „Библіотекѣ для Чтенія“, мы должны оплакивать горькую, невозвратную потерю. Гдѣ теперь эти звуки, въ коихъ слышалось, бывало, то удалое разгулье, то сердечная тоска; гдѣ эти вспышки пламеннаго и глубокаго чувства, потрясавшаго сердца, сжимавшаго и волновавшаго груди, эти вспышки остроумія, тонкаго и язвительнаго, этой ироніи, вмѣстѣ злой и тоскливой, которыя поражали умъ своею игрою; гдѣ теперь эти картины жизни и природы, предъ которыми была блѣдна жизнь и природа?... Увы! *вмѣсто ихъ мы читаемъ теперь стихи съ правильною цезурою, съ богатыми и полубогатыми римами, съ пѣвическими волюстями, о коихъ такъ пространно, такъ удовлетворительно и такъ глубокомысленно разсуждали архимандритъ Аполлосъ и г. Остолоповъ!..* Странная вещь, непонятная вещь! Неужели Пушкина, котораго не могли убить ни изступленные похвалы энтузіастовъ, ни сильныя, нерѣдко справедливыя, нападки и порицанія его антагонистовъ, неужели, говорю я, этого Пушкина убило „Новоселье“ г. Смирдина?... *И, однакожь, не будемъ слишкомъ поспѣшны и опрометчивы въ нашихъ заключеніяхъ; предоставимъ времени рѣшить этотъ запутанный вопросъ. О Пушкинѣ судить не легко.* Вы, вѣрно, читали его элегію въ октябрьской книжкѣ „Библіотеки для Чтенія“? Вы, вѣрно, были потрясены глубокимъ чувствомъ, которымъ дышетъ это созданіе? Упомянутая элегія, кромѣ утѣшительныхъ надеждъ, подаваемыхъ ею о Пушкинѣ, еще замѣчательна въ томъ отношеніи, что заключаетъ въ себѣ самую характеристику Пушкина, какъ художника:

Порой опять гармоніей ушьюсь,
Надъ вымысломъ слезами обольюсь.

„Да, я свято вѣрю, что онъ вполне раздѣлялъ безотрадную муку отверженной любви черноокой черкешенки или своей плѣнительной Татьяны, этого лучшаго и любимѣйшаго идеала его фантазіи; что онъ вмѣстѣ съ своимъ мрачнымъ Гиреемъ томился этою тоскою души, пресыщенной наслажденіями и все еще не вѣдавшей наслаждений; что онъ горѣлъ неистовымъ огнемъ ревности вмѣстѣ съ Заремою и Алеко, и упивался дикою любовью Земфиры, что онъ скорбѣлъ и радовался за свои идеалы, что журчаніе его стиховъ согласовалось съ его рыданіями и смѣхомъ... Пусть ска-

жутъ, что это — пристрастіе, идолопоклонство, дѣтство, глупость, но я лучше хочу вѣрить тому, что Пушкинъ мистифируетъ „Библиотеку для Чтенія“, чѣмъ тому, что его талантъ погасъ. *Я вѣрю, думаю, и лишь отрадно вѣрить и думать, что Пушкинъ подаритъ насъ новыми созданіями, которыя будутъ выше прежнихъ*“ („Молва“ 1834 г., ч. VIII., стр. 397—400)...

Сколько размысленій возбуждаютъ эти пылкія юношескія страстицы, на которыхъ, повторю опять, глубокое пониманіе идетъ объ руку съ страннымъ непониманіемъ. Не ясно ли, что самое непониманіе новыхъ сторонъ, открывавшихся въ Пушкинѣ, было слѣдствіемъ слишкомъ живого проникновенія натуры критика прежними его созданіями! Иначе какъ объяснить, что человекъ, который равно цѣнилъ и лирическія и юмористическія стороны генія Пушкина — стало быть, и „Цыганъ“, и „Графа Нулина“ (а надобно припомнить *непристойную* статью Никодима Надоумки по поводу графа Нулина!) — не понималъ „Гусара“, напечатаннаго въ „Библиотеку для чтенія“, не понималъ стремленія Пушкина къ Шекспиру, выразившагося въ „Анджело“? И между тѣмъ этотъ юноша, не понявшій „Анджело“ и „Гусара“, *вѣритъ* упорно въ Пушкина, видитъ въ немъ выраженіе современнаго ему міра, „*но міра русскаго*“, вѣритъ, наконецъ, въ душу поэта, разлитую въ его созданіяхъ и тѣсно съ ними соединенную, живущую одною съ ними жизнію! Не говорю уже о томъ, что юноша, ставши мужемъ, понималъ и „Анджело“, и „Гусара“, и „Каменнаго Гостя!“

Все это въ 1834 году.

А въ 1857 и 1858 годахъ являются въ журналахъ нашихъ статьи, гдѣ то оправдываются отношенія Полеваго къ Пушкину, и Полевой ставится выше *по убѣжденіямъ*, то гг. NN, ZZ приписывается, какъ проводителямъ принциповъ, больше значенія въ русской литературѣ, чѣмъ Пушкину, то, поклоняясь произведенію, дѣйствительно достойному уваженія, какъ „Семейная Хроника“, вовсе забываютъ о „Капитанской Дочкѣ“ и „Дубровскомъ“!... А въ 1859 году является статья, исполненная искренной любви и искренняго поклоненія великому поэту, но такой любви, отъ которой не поздоровится, такого поклоненія, которое лишаетъ поэта его великой личности, его пламенныхъ, но обманутыхъ жизнію сочувствій, его высокаго общественнаго значенія, которое сводитъ его на степени кимвала звенящаго и мѣди бряцающей, громкаго и равнодушнаго эха, сладко поющей пти-

цы! Все это развѣичаніе совершается съ наивнѣйшею любовью, во имя поэтической непосредственности...

Да! вопросъ о Пушкинѣ мало подвинулся къ своему разрѣшенію со времени „Литературныхъ мечтаній“, а безъ разрѣшенія этого вопроса мы не можемъ уразумѣть настоящаго положенія нашей литературы. Одни хотятъ видѣть въ Пушкинѣ отрѣшеннаго художника, вѣря въ какое-то отрѣшенное, не связанное съ жизнію и не жизнію рожденное искусство; другіе заставили бы „жреца взять метлу“ и служить ихъ условнымъ теоріямъ... Лучшее, что было сказано о Пушкинѣ въ послѣднее время, сказалось въ статьяхъ Дружинина, но и Дружининъ взглянулъ на Пушкина только какъ на нашего эстетическаго воспитателя.

А Пушкинъ—наше все: Пушкинъ—представитель всего нашего *душевнаго, особеннаго*, такого, что остается нашимъ *душевымъ, особеннымъ* послѣ всѣхъ столкновеній съ чужимъ, съ другими мірами. Пушкинъ — пока единственный полный очеркъ нашей народной личности, самородокъ, принимавшій въ себя при всевозможныхъ столкновеніяхъ съ другими особенностями и организмами все то, что принять слѣдуетъ, отбрасывавшій все, что отбросить слѣдуетъ, полный и цѣльный, но еще не красками, а только контурами набросанный образъ народной нашей сущности,—образъ, который мы долго еще будемъ отгнѣнять красками. Сфера душевныхъ сочувствій Пушкина не исключаетъ ничего до него бывшаго и ничего, что послѣ него было и будетъ правильнаго и органически-нашего. Сочувствія Ломоносовскія, Державинскія, Новиковскія, Карамзинскія, сочувствія старой русской жизни и стремленія новой,—все вошло въ его полную натуру, въ той стройной мѣрѣ, въ какой бытіе послѣпотопное является сравнительно съ бытіемъ допотопнымъ, въ той мѣрѣ, которая опредѣляется русскою душою. Когда мы говоримъ здѣсь о русской сущности, о русской душѣ, мы разумѣемъ не сущность народную до-Петровскую, и не сущность послѣ-Петровскую, а органическую цѣлость: мы вѣримъ въ Русь, какова она есть, какою она оказалась или оказывается послѣ столкновеній съ другими жизнями, съ другими народными организмами, послѣ того, какъ она, воспринимая въ себя различные элементы, одни брала и беретъ какъ родственные, другіе отрицала и отрицаетъ, какъ чуждые и враждебные... Пушкинъ-то и есть наша такая, на первый разъ очеркомъ, но полно и цѣльно обозначившаяся душевная фізіо-